

Владимир РЮТИН

КОГДА Я СТАНУ БОЛЬШОЙ?

Р а с с к а з

— Я измучилась с ним, папаша! Измотал в доску. Вчера прихожу с работы, он уже выгащил мой лисий воротник и зоску¹ хотел вырезать. — Мать вдруг крепко задолбила ногтями по моей макушке. — Хорошо хоть, вовремя успела... Каждый день так! Каждый божий день!

Дед сидит прямо на маминой кровати в ватных штанах, сидит — и ничего. Кровать заправлена белым пикейным покрывалом. А мама злится на ватные штаны и ябедничает на меня дедушке, как будто это я сижу на ее необыкновенном покрывале. Мама почему-то называет дедушку папашей, хотя «ш» ей трудно выговаривать, и всегда стесняется при дэдке курить...

Еще рано. Дедушка вечно в такую рань приезжает, с самым первым поездом под названием «Колхозник». Едет и всю-то ноченьку не спит. На левом сапоге у дедки две заплатки и на гимнастерке тоже заплатки, только разноцветные — бабушка старалась. Самое новое на нем — это лысина и веселые глаза. Он глядит на меня сейчас и приговаривает ласково, в тон матери:

— Ах ты, варнак, ах ты, варначище.

Нос у деда большой и мягкий, а под носом маленький квадратик седых волос, он их никогда не сбривает. Дедка гладит меня по макушке своей ладонью, все так же, в такт матери, приговаривая:

— Поди, милой, поди на волю, погуляй...

В сенях полумрак и холодновато, пахнет примусом. На столике зеленая кастрюля с отрубями — дедушка привез. Под столом кулек с картошкой — тяжеленный, бабушка послала. Вот поедем! И почему мать не любит папкину родню? Называет всех одним словом «мисаиловские», что означает — из одной деревни. И я «мисаиловский», хотя в той деревне никогда не был... Скоро наш папка японцев разобьет там, на Дальнем

¹ Зоска — игра, а также снаряд для нее — кусочек кожи с длинным мехом, к которому прикреплялось свинцовое грузило.

Востоке? Всех убивают, ранят, а он в рубашке родился. Что за рубашка такая?

Дедушка говорит, что никогда не стрелял из ружья. И когда был в балаганской партячейке, ему назначили расстрелять кулака и дали ружье. Только кулак сначала должен был выкопать себе ямку. Дед повел его и увидел: мужик-то знакомый, а никакой не кулак. Многосемейный, простой мужик. Тогда дедку самого обозвали кулаком. С того времени у дедки и пошло всё широким кверху... Из ружья он так и не стрелял, про остальное рассказывать не любит.

Мать без дедки называет дедку «молчун» и «тяжелый человек».

Около нашего крыльца всегда тень от высоченной кирпичной стены. Это какой-то склад, в котором хранят огромные слитки золота для американцев, трофейные пистолеты и всякие разные елочные игрушки. Про игрушки говорила Нелька Сенигина, хотя все остальные в нашем дворе думают по-разному.

В стене есть черные дырки. В самых верхних живут веселые стрижи. Они со всего маху туда влетают и, конечно, видят, что на складе лежит.

С приходом деда мать совершенно забыла заставить меня умыться. Умывальник вместе с тазом перекочевал на улицу, а вода в нем утром как лед. Скоро лето, хватит ему в доме вонять. Я показал издали умывальному фигуре.

Ночью потеплело. А сегодня выходной, и солнце хорошо-хорошо греет. Генка дворничихин уже во дворе. Прижался спиной к нагретым от солнышка доскам сарая. Он всегда раньше других просыпается и раньше других выходит во двор. Потому что мать его не кормит, а только пьянствует. Генка-трехклинка умеет материться, а на губах может сыграть любой военный марш или вальс. Его отец героически сложил свою голову под самой Москвой.

Я подошел к стене сарая. Генка не обратил на меня внимания. Смотрит куда-то вверх, наверное, считает облака. Доски правда уже теплые, пахнут старым деревом и смолой. Я тоже посмотрел на небо, потом на Генку. Потом я сказал, что приехал мой дедушка. Но Генка все смотрел и смотрел вверх, будто что-то там ему увиделось. В небе же ничего не было, кроме опасной глубины, и я спросил:

— А что, думаешь, есть выше облаков?

Опять молчок.

— А к нам приехал дедушка, он привез отрубей, картошку...

Тут Генка оторвал лицо от своей мечты и сказал будто спокойно:

— Кривоногий он, твой дед.

Я в ответ обозвал его дворнягой, метелкой и сказал:

— Мой дедка восемь лет на Беломорканале отбухал и видел Сталина,

Сталин к экам на пароходе в гости приплывал.

— Твой дедка был враг народа, а ты — параша!

Тогда я со злости пнул Генку, но зашиб себе же ногу. Зато успел увернуться от его плюхи. Я побежал зигзагами к своим сениям, потому что знал, как Генка метко кидается камнями. Но камень подходящий Генке,

видно, не попадался под руку, и все, что он кидал, были перелет или недолет.

Он мне кричал вслед, как собака, злой:

— Не приходи сегодня на Ангару широк колоть, половинкой башку проломлю, не вздумай появляться...

Генка, точно, был псих. Это знали все. Таким он стал, когда его мать сколько-то там времени отсидела за кражу угля на угольном причале.

Генке ничего даже не было, когда он выбил глаз бараковскому Кольке. Колька подглядывал из своего двора в квадратную дырку забора, что возле уборной. Как дождетя кого из наших близко, то кидает тяжелым камнем, чтобы убить. А Генка-трехклинка выследил Кольку из-за уборной, оттянул хорошенько рогатку с гольшом и попал в квадратную дырочку, а Колька как раз начал в нее смотреть. Р-р-раз — и глаза нет.

Приходила милиция, была у Генки, он ревел, потом два дня не выходил. Больше ему за глаз ничего не было, потому что он псих, и всё. А война с бараковцами на том и закончилась. Некоторое время мы не могли к этому привыкнуть, но война все же кончилась навсегда.

После глаза Генка, конечно, был страшным героем, хотя об этом никто ничего не говорил.

Но вскоре я его переплюнул. Я стал не страшным, а настоящим героем, когда нечаянно перебросил камень через высокий забор. То был уже другой забор. Такой высоченный, что никому, даже Вовке Козлу, не приходило в голову на него залезть. В заборе ни одной щелки, и только с соседней крыши кто-то из нас видел, что за забором сиреневый сад, а в том саду бьет фонтан и гуляет настоящая дикая косуля. В глубине сада белый дом, там же имеется собственная электростанция и теплый гараж. А в доме том живет — здесь приглушали голоса даже наши родители — сам Дарков. Сказочный волшебник, секретарь обкома.

Кирпич пробил два стекла и чуть не попал в кухарку. Ровно через минуту прибежали два милиционера, а Нелька Сенигина сразу выдала, кто кидал. Меня вели за ухо до угла, пока у милиционера с усами, как у Сталина, не вспотели пальцы. Потом меня держали за шиворот, но ухо еще ломило, и хотелось плакать со страху. Не плакал только потому, что чувствовал, как весь наш двор следует на безопасном расстоянии. Под конец я уже пожалел, что скоро милиция, и ребята меня там не увидят, и я в милиции заплачу.

После милиции даже мать на меня смотрела настороженно. А уж во дворе... и говорить нечего. Валерка Пинчук дал мне поносить свой кастет до вечера. Что Генка с каким-то Колькиным глазом! Вот выбить сразу два стекла у Даркова! «Вот это да! Вот это да!» — говорили потом все ребята.

Это и вспомнилось в сенях в отместку Генке, который явно еще караулил меня где-то около сеней с хорошим камнем. Я ждал и нюхал керосинный запах в сенях, пока не надоело и не понял, что Генка ждать будет долго.

У нас на кухне сидят мама с тетей Клавой Сенигиной. Тетя Клава час тому назад пришла за примусной иголкой. Тетя Клава — мама Нельки, Вальки и Вовки. И приходит теперь к нам часто, потому что дядя Миша, как и мой отец, на войне. Они говорили шепотом, так как дедушка снял сапоги и спит на моей кушетке, ласково похрапывает, подложив большую теплую ладонь под свою колючую щеку.

Мама говорит, по всему видать, про дедушку:

— Когда жили мы все вместе, с Мишкой только поженились, папаша как уйдет в баню с самого утра, так его все нету, нету. Уж вечер на улице... Темнеет, а он в баню-то утром ушел. Я спрашиваю: «Мамаша, говорю, где же папа-то?» А она, видишь ли, к закату жизни примирилась с этим, с его краями, и отвечает мне спокойненько: «Э, говорит, Шура, плохой тот сучок, на который пташка не сядет. Ха-ха-ха!»

Тетя Клава вся дрожит и, отрывая руку ото рта, протягивает палец в сторону спящего дедушки, произнося с усилием:

— Он-то, он-то сучок — су-чок! Ничего себе, сучок дак сучок!

Обе смеются, я не могу понять, почему дедку обзывают сучком. Почему об этом сказала когда-то маме бабушка?

— Разбудите, — злобно шиплю я им.

Но мать отмахивается:

— Тоже мне, защитник. — И вдруг, став серьезной: — Вот что, Владимир, поедешь с дедушкой в Булай, на волю. Бабка с дедом козу купили, скоро у нее будет молоко. Хватит мне с тобой тут грешить. Пусть и они попробуют, что ты за сахар.

Я не знаю, радоваться мне или нет. Конечно, жаль оставлять двор. И ранетки скоро у Тимкина поспеют, вон их нынче сколько, крючком доставать бы стали... И в Ангаре вода потеплеет — купаться можно. А у дедки и реки-то нет... Но что скажешь? Как мать решила, так всегда и есть. Попробую, поеду.

Гляжу на дедушку, который вот уже и проснулся, убрал руку из-под щеки и улыбнулся мне добрыми, сонными глазами.

* * *

На вокзале выгружают раненых из вагонов санитарного поезда. Состав прибыл с Дальнего Востока. Дедушка зачем-то держится за горло и все смотрит, смотрит на носилки, что проносят санитары и санитарки.

— Тяжелые, — сказал дедка. — Которые уже и померли.

И вправду, лиц многих раненых не видно: то закрыты бинтами, то простынею.

— Померли, ребятки, — повторил дедка. Он так дома и не спросил про отца.

— Уж такой человек, — поясняла мама тете Клавe сегодня утром. — Не скажешь, так сам и не спросит. Попросил только карточки Мишины посмотреть. У нас есть такие, которых нету у них. Тяжелый человек папаша, тяжелый!

Вот и на вокзале смотрит-смотрит в лица раненых, как на фотокарточки сегодня дома.

— Пойдем, дедка?

Мы идем мимо других раненых, которые лежат на носилках, расставленных прямо на перроне.

— Эти легкие, — говорит мне дедушка. — Постой-постой, паря, может, знакомые есть?

Но знакомых не видно — ни моих, ни дедушкиных. И мы уходим через пути к своему составу.

Дедушка сильно дернул мою руку, стал торопить, чтобы я не слышал, как «легкие» неизвестно для чего стали хохотать и матерно кричать на трех проходящих мимо девушек.

— Хал-лударь, жеребцы стоялые, — произносит дед сквозь зубы и еще сильнее дергает вперед мою руку.

Не оглядываясь, мы быстро удаляемся от санитарного поезда.

В вагоне мы забрались на третью полку, улеглись, и дедка захрапел, пока поезд еще не тронулся. Ехали мы до вечера, я почти не спал, а наблюдал, как через вагон проходят «артисты», как сказал дедушка. Артистами у нас во дворе называли тех, кто притворяется. Эти же были то без ноги, то слепые, то с руками и ногами, только у них все тряслось. Я глядел сверху и старался угадать, какие притворяются, какие — нет. Мне всех их было жалко, только одни мне нравились больше, другие меньше. А песни их совсем не нравились. Какие-то противные песни, даже те, которые знакомые.

Наконец приехали. Была полночь — и грязненький шахтерский городок. Нам еще идти тридцать верст, поэтому пошли ночевать к Парасковье — бабушкиной знакомой.

Парасковья уже спит, еле достукались. Молча пустила в душную избу, постелила нам с дедкой в кухне тулуп и молча ушла за перегородку, не напоив даже чаем. Мы разулись.

Дед поворчал на икону:

— Ишь ты, богомолка, еще и на кухне этого еврея повесила.

Лег и уснул так же скоро, как в поезде.

Ночью меня съели клопы, так что утром дед даже смеялся. Парасковья была приветлива, напоила нас чаем с лепешками.

Мы шли и шли почти весь день. Сначала мимо кладбища, потом безрезняком, потом — поля и поля... В небе тараторили жаворонки, а дед все молчал, только иногда пел протяжные, совсем незнакомые песни и что-то говорил, говорил сам себе.

Если на жаворонка долго смотреть, то он превращается в воздух. Дед сказал, что эта птица крестьянская, трудовая и зорить ее нельзя.

— А другую зорить можно?

— Никого зорить нельзя. Если будешь зорить, не вырастешь большой.

— А когда я вырасту большой?

— Когда пройдет время.

— Когда оно пройдет? Когда оно пройдет, а, дедка?

— Когда люди скажут.

— А какие люди?

— Добрые, добрые люди скажут.

Больше он не отвечал мне и только торопил:

— Что-то, паря, ты не идешь, не идешь, бабушка нас заждалась, поди... — И всё. Потом уже молчал.

К вечеру похолодало. Стало еще холодней, когда мы начали спускаться к деревне Булай с горы, из соснового леса. Мы прошли для меня так много, как может пройти человек, если он стал большим-пребольшим и прошел половину всей земли.

Ночью я шел уже по другой половинке круглой земли. Рядом шел жаворонок на человеческих ногах, в сапогах. Потом мы взлетали с ним вдвоем, и он учил меня петь свои долгие жаворонкины песни.

Утром бабушка сказала мне, что я расту, коли так летаю над пашнями.

— А теперь, — сказала она, — пойдем гулять Машку, ты за ней будешь следить.

Машка стояла у крыльца и что-то жевала, а когда увидела нас, мекнула и стала нахально смотреть мне в самые глаза.

Не коза это, и вовсе уж не Машкой ее звать. Урод какой-то с большим брюхом и титьками. Даже рогов нету. А борода как у того еврея, что мы видели с дедкой. Хоть бы не смотрела молча. Хоть бы не приснилась ночью, как жаворонок.

Машка поняла мои мысли, повернулась обидчиво и ушла, кокетливо подрагивая хвостиком, покачивая титьками.

А бабушка сказала:

— Все ведь, тварь, понимает. Как скажу что, поймет ведь, язва, поймет. Говорить только не может, а так чисто человек.

Бабушка похлопала себя по переднику и пошла в избу.

Я смотрел бабушке вслед, а когда хотел повернуться, чтоб пойти на улицу, посмотреть, куда ушла — моя теперь — Машка, то вздрогнул и окаменел. Там, где стояла страшная коза, стоит красивая, молодая девушка. Далеко вниз спускается по груди толстая русая коса, глаза смотрят через меня, пальцы длинные, белые, глаза печальные, очень большие. Она провела холодными пальцами по обеим моим щекам враз, отпрыгнула, как кошка, и пошла, пошла. Высокая, красивая. Пошла, как по стеклу, плавно, боясь проломить землю.

— Мария! — крикнул я. — Мария!

Она медленно обернулась и прошла в дом так же плавно, но далеко обходя меня. Я напугал Марию. Это была Мария — моя тетья. Люди жалели ее и жалели бабушку с дедушкой за Марию. Люди говорили, что она Божий человек, тихонькая. А я не боюсь, и она мне нравится. Как это она ходит? Я не видел такого. Какая она красивая и высокая, выше бабушки и выше дедушки. Я буду любить Марию, не буду ее обижать. А когда вырасту большой, то женюсь на Марии и увезу ее к самым лучшим врачам, к синему морю.

Бабушка с дедкой работают на молочном пункте, где стоит большой сепаратор. Они крутят вдвоем ручку сепаратора. Получаются сливки из молока, которое привозят колхозники на телеге. Из молока получаются сливки для госпиталя, что в грязном шахтерском городке.

Когда сливок набиралось достаточно, дедушка шел в колхоз выпрашивать коня, чтобы увезти и сдать сливки в госпиталь.

Бабушка тайком от деда давала мне попить сливок, но они мне не нравились. А когда дедка узнал, то кричал бабке:

— Это грех — воровать у раненых, если хоть еще раз увижу, не знаю, что сделаю.

Бабушка причитала и охала:

— Вражина! Ребенку пожалел. Уродина — не человек. Кругом воруют, кругом воруют!..

— Пусть воруют, а я не воровал и в жизни не буду! Не буду!

— Тресни ты пополам, и все тут, черная немочь, — заканчивала бабка и убегала от греха подальше.

Еще мне нравилось смотреть на дедку, как он тискал молодых баб или девок, когда они привозили молоко. Дедка тогда становился веселым и разговорчивым, а бабка, наоборот, хмурилась и тихонько приговаривала:

— Кикимора старая, старый конь, а все шлея под хвост ему попадает.

Я не знал, что такое «шлея» и почему она попадает дедке «под хвост».

Однажды дедушка вернулся из города, а позади телеги ковылял привязанный конь. Коня дед завел в наш двор и поехал сдавать в колхоз пегую кобылу, на которой ездил в город. Конь был большой и дохлый. Торчали ребра, а голова совсем опущена к коленям.

Бабка взглянула из сеней:

— Эй, что за оказия! Каку халеру поставил тут?

А когда дедка вернулся, спросила:

— Чью это ты смертушку в наш двор-то завел?

— Это тебе не смертушка, а Погранишный!..

— Какой еще Погранишный?

— А вот и Погранишный, инвалид войны. Гормаслопром нашему пункту закупил. — Дед любовался на коня и был страшно доволен. — Будет ходить в колхоз-то, будет. Свой теперь коняга. Не надо кланяться пьянице Новоселову: дай, мол, коня, дай, сливки увезу.

А бабка все похохатывает над дедом. Только Мария ходит мимо «смертушки», не замечая ни его и никого другого. Она поднесла дедушке зажатый кулак, раскрыла его, и на ладони оказалась горка ржавых горелых гвоздей. Она их собирала по двору несколько дней. Мария отдала дедушке гвозди, и он увел ее за руку ужинать.

Все ушли. Я стал говорить коню всякие добрые слова, но конь дремал, все так же опустив морду к передним ногам, не слушал.

Прошли еще дни, и Машка родила сразу двух козлят. Дед и бабка всю ночь перед этим ходили к Машке в стайку и брали с собой лампу.

Погранишный ободрился. Но ездил дед все еще на колхозных конях. Дед жалел Погранишного и водил его купать к озеру. Бабка варила коню специально очистки, поила его сывороткой из-под творога. Но хоть Погранишный и стал веселее, а ездить на нем еще нельзя. У него была сильно сбита спина. Дедушка пережигал в банке козий помет с какой-то травкой и сыпал Погранишному на спину, и ранки стали заживать, так что мухи уже почти не садились.

— Этот конь, — говорил мне дедка, — прошел всю войну. Это настоящий строевик по масти и по стати. Теперь он стал старей и сильно контужен, но я, вишь, старей, а еще могу работать да работать.

Дед заметно повеселел со своим Погранишным. И даже припадки Марии его не так, как раньше, хмурили.

Бабка мне сказала, что в молодости он мог на любого зверя сесть и прогонять до покорности.

— Ох, и любил коней, страсть как любил! — И сказала, что по ночам дедка встает и мочится Погранишному на задние ноги, чтоб контузию снять.

Сначала мне было смешно, потом я поверил и сам стал так же делать, а дедка одобрил.

— Поднимем коня, внучек, я научу тебя верхом ездить. Хочешь?

У меня от такого аж дух захватило. Я повис у дедки на шее, побежал к бабке — ее не было.

Я увидел Марию, прижался к ней, но Мария сильно щелкнула меня, захохотала и пошла дальше очень печальная и строгая, как будто меня и не видела никогда в жизни. В один из дней мама прислала телеграмму: «Приезжайте. Мишу демобилизовали. Шура».

Только бабушка не могла поехать, Марусю не с кем было оставить.

* * *

Через день я увидел отца. Он был такой, как на фотографиях. Я обиделся на маму, что она унесла на барахолку всю его военную форму. Оставила только сапоги, потому что надо же было в чем-то ходить. Мне было стыдно перед ребятами, что мой отец даже ранен не был. Хорошо хоть, что они его в форме видели, и то ладно.

Отец любил ходить без рубахи и даже без майки. Он был такой красивый и сильный, что я не мог на него насмотреться. Теперь жизнь в нашем доме стала другая.

Я проучился эту зиму в первом классе. Научился уже читать и считать. Знал много наизусть. А когда нас распустили на лето, родители отправили меня к дедушке в деревню.

У мамы незаметно появился большой живот, и она теперь не работала на заводе, а только сидела дома и шила.

Я ехал, дрожа от радости, что увижу бабушку, Погранишного и Машку, а про Марусю я почему-то вдруг забыл.

Я ехал опять в поезде. Меня провожали папка и Генка-трехклинка. Они уехали назад вместе с вокзалом, а я стал вспоминать наш двор и

школу под стук колес. В самом конце занятий у нас умерла от разрыва сердца наша любимая Клавдия Тихоновна. Ей принесли похоронку на сына Сережу. Сережу убили в Германии почти через год после победы пьяные американские солдаты. И Клавдия Тихоновна не вынесла. Она и так пережила ленинградскую блокаду.

— И Сережа, — как сказала моя мама, — доконал бедненькую.

Мы хоронили ее всей школой — это было настоящее горе, а занятий в этот день и на другой у нас не было.

Во дворе все шло по-старому. Только одно время было очень весело. Приехал сенигинский дядя Миша из Маньчжурии. Дядя Миша, как говорили все во дворе, привез целый вагон трофеев. Вся квартира их была завалена японскими бурками, японскими ящиками с вермишелью, с чем-то еще, еще и еще. У них все время гуляли фронтовики и друзья дяди Миши. Гуляли и пели песни по ночам. Я сам держал в руках японскую саблю, только она была очень уж тяжелая. Я сам видел прозрачные шелка и всякие картинки и статуэтки, пока мама не запретила мне к ним ходить. Она сказала:

— Совесть люди на фронте потеряли. Грязными сделались.

Но я потихоньку ходил к Сенигиным, пока мы с ребятами чуть не сожгли весь дом японскими спичками. Мы решили сделать настоящий военный взрыв. Насыпали в железную бочку очень много японских спичек и закопали бочку за кладовками. Потом Сашка Шипицын все это поджег, взрыв получился слабый — никого не задело, только сарай начали гореть. Даже приехали пожарники, успели вовремя, все уцелело. Кроме одной стенки сарая.

Отец после работы сказал мне:

— Каждый человек получает ровно столько, сколько он заработает. Тебе сколько горячих ремнем? Десять или восемь? — и улыбнулся.

Я тоже улыбнулся, боязливо думая, что он, может, шутит, и выбрал, конечно, восемь. Отец, все так же улыбаясь, снял с меня штаны, зажал голову меж своих железных колен. И отмерил ровно столько, сколько я заработал. Я орал не от боли, а больше от его спокойствия. Но долго потом злиться на него не мог, потому что он любил меня так же сильно, как и я его. Потом папка остался в Иркутске, и мне стало очень жалко.

* * *

Дедушка меня встретил прямо у высоких ступенек вагона. Он был все в тех же ватных штанах, все в той же старенькой шапке. И щетина на его щеках колосась все так же.

Дед быстро провел меня через деревянный вокзал к выходу. Когда мы вышли на улицу, дед крикнул весело:

— Узнаешь? Кто это?

— Неужели наш Погранишный?

— Он самый! Самый настоящий кавалерист!

Теперь это был сытый высокий коняга с блестящими глазами и хорошей гнедой шерстью. Погранишный узнал дедку, дал голос и замотал

головой вниз-вверх. Как только мы усадились в тележку, он без понукания широко зашагал по дороге через город, в нашу деревню Булай.

— Вот так и живем, — улыбнулся дедка. — Все живы-здоровы, и Погранишный, вишь, поправился.

Дедка пел свои долгие песни, а жаворонки еще не прилетели, и дорога была — одна грязь со снегом.

— Дедка, давай рысью?

— Нет, внучек, рысью не можем, мы контуженные. А куда нам бежать-то? От каких грехов? — И он снова улыбнулся, думая о чем-то.

— Дедка, а я стал большой уже?

— Стал больше.

— А какие люди добрые мне скажут, что я стал большой?

— Которые всяку тварь жалеют и человека жалеют одинаково.

Я стал думать, кто у нас во дворе кого жалеет, да так и не придумал. Потом незаметно стал мечтать про зверей, про добрых людей, которые зверей не бьют, и зверей, которые людей не терзают...

Так и приехали.

— Вишь, как скоро, — показал дедка на Булай. — Тише едешь — скоро до дому приедешь. Околел?

Сам-то дедка не замерз. Он спрыгивал с тележки всякий раз, как появлялась горка, чтоб легче было Погранишному. Я ходил только два раза, потому что Погранишный вдруг падал на задние ноги и никак не мог встать. У Погранишного были испуганные глаза. Тогда дедка успокаивал коня, распрягал из оглобель. Погранишный оставался сидеть в грязи, как собака, и мне было даже смешно, но дедка шикнул на меня:

— Ишь ты, греховодник, разве можно смеяться над больным фронтовиком?

И мы вместе с дедкой помогали Погранишному встать.

Так же было и второй раз, уже перед Булаем. Только теперь я уже не смеялся над конем.

Я прожил опять несколько дней у дедки, пока несчастье не заставило меня вернуться в наш двор, к нашим ребятам, к отцу и маме.

В пасмурный день, в самом начале мая, пропала наша Мария. Ее искали всей деревней по лесам, в соседних селах, но не могли найти. Дедушка стал весь черный и не брился. Бабушка выплакала все что могла. Пока из Иркутской психбольницы не пришла телеграмма, что такая-то доставлена в клинику, а взята она в Заларях.

— Залари, — сказал дедка, — отсюда верст сто. Ах ты горюшко наше, горюшко! Пойду я, старуха, пойду. Не погоним Погранишного. Пойду на станцию пешком.

Бабушка наскоро собрала гостинец Марусе, и дедка бегом-бегом ушел из деревни.

Назавтра в деревне все гуляли День Победы. Соседская тетя Катя попросила Погранишного — съездить в Бельск к родным. Бабка всем всегда отдавала, если что просят. Тут засомневалась, но тетя Катя заверила, что к вечеру конь будет дома и все будет ладно.

К вечеру конь привез пьяных братьев тети Кати. Братья надели все ордена и медали. Они были так веселы, что решили во весь дух прогнать по Булаю. Когда они проезжали мимо наших ворот второй раз, я выскочил и еле узнал Погранишного.

Он скакал из последних сил, припадая на задние ноги. Один из братьев стоял в коляске во весь рост и бил его тяжелой палкой.

Я закричал и побежал вслед. Но тут Погранишный упал, потом сел, как собака, и снова упал. Когда я подбегал, то слышал, как один из братьев, у которого было поменьше медалей, бил Погранишного по голове и кричал:

— Вперед, зараза!.. На линию огня, псина!

Потом вытащил из заднего кармана наган и выстрелил. Я уже стоял рядом и видел фонтанчик крови из уха Погранишного. А мужики пнули по разу вздрагивающего коня и пошли дальше с лихой военной песней по деревне.

Приехал дедушка, и ему сказали.

Тетя Катя извинялась жалостливым голосом за братьев:

— Фронтовики они ведь. Наубивались там людей... А скотинку им по пьянке убить... тьфу! Вы уж не сердчайте, дедушка...

Но дедушка не дослушал, хотя тетя Катя кричала ему вслед:

— Шкуру-то заберите, шкуру-то!

Дедка отмахнулся, побежал к огороду, а я с другой стороны прясла стал смотреть. Дедка стоял у прясла и приговаривал: «Будь ты проклята, будь... Эта война, эта стрельба, стрельба... ба». Он стоял с открытым ртом, по щетинистым худым щекам катилась слеза за слезою. Я еще раз посмотрел на дедкин открытый рот, и мне стало очень страшно, так страшно, что я заплакал и уже не мог подсматривать за дедкой.

